

**Ж**

ил в одном селе мужик по имени Матфей. Ходила о нем молва дурная, как о человеке жадном и хитром, себе на уме, как говорят.

Особого зла он вроде и не делал, да был нелюдим и угрюм, отсюда и всякие росказни про его темные дела. И вправду, как какое несчастье с кем приключится, все в сторону Матфея косят, а он ходит себе, да поглядывает, как бы чужую беду вынюхивает и готов всегда поживиться чьим-нибудь несчастьем. Все одно к одному: не человек, как говорят, а недочеловек.

Да и на вид он был какой-то порченный: борода редкая, на лице, как репейник — острыми клочками в разные стороны; один глаз больше другого, а густые брови свисали так плотно, что и этих кривых глаз не видно было толком. И как посмотрит косо, то прямо мороз по коже продирает; век бы не видеть такого взгляда. Хромал он на левую ногу, и когда шел, то все его тучное и неказистое тело напоминало огромный мешок, набитый всякой дрянью; да и голос был у него какой-то неприятный, ржавый и писклявый. Скажет что-нибудь, да тут же захихикает своим лисьим смешком; как из помойного ведра обдаст его смех и голос.

И вот жил такой человек, жил совсем нелюдимо, да прижимисто; не в Бога богател, как говорят. Все знали, у Матфея много денег, только он никогда их никому не давал и не показывал; все копил у себя где-то в своей норе-берлоге, копил да людей попроще обманывал и обкрадывал. И как все удивились, когда однажды нашли Матфея мертвым на Маланьиной горе. Обрадоваться не обрадовались, да все же о суде Божьем подумали. Но не только удивились, но испугались больше всего, испугались насмерть, испугались так, что с тех пор страх этот сойти не может, всякого хватает за самое нельзя. И вправду, было здесь чего испугаться.

Село у нас небольшое, все как на ладони, и до городу не так, что далеко. Однако версты три будет. И есть две дороги: одна короткая, прямо через Маланьину гору, а другая подлиннее, в объезд. Это только название такое — гора, а с виду никакая это не гора, а так, холм, прямо посреди дороги пролегший и сравнявшийся уже почти с дорогой — так, небольшое взгорье. Но все же взгорье, подниматься надобно, если идешь, и нелегко подниматься там. Если днем, то прямехонько, без страху через эту горку всякий идет-едет, а если замешкается кто в городе, то к ночи народ потрусливей всегда объезжает это место.

Место не место, а все же за ним дурная слава водится издавна, и уж никто и не помнит, когда все произошло на этом месте, однако всяк добрый человек побаивается, и чуть стемнеет, с опаской поглядывает в сторону Маланьиной горы. Вечерами да ночами и так полно всяких звуков — странных да причудливых, а тут еще это тихое завывание, слабое, едва слышное, с птичьим криком ночным схожее, со стороны горы этой иногда идущее. А может, и вправду это птица какая ночью так поет, только не по себе становится каждому, кто невзначай окажется поблизости от этого места. И всяк норовит обойти его, а лучше и вообще не вспоминать о нем.

Почему дурное место это — так разные рассказы ходят, но, дескать, там раз или два находили покойников, людей, не добравшихся до дому из города и умерших на самом этом месте. Как и почему они там Богу душу отдали, никто не знает, только говорят, кого не захочет Маланья пустить домой через эту гору, того ни за что не пустит. Едет, например, мужик упрямо в гору, да не может дотянуть до середины. Как ни тужься, как лошадь ни погоняй, как будто сила какая отталкивает его и сбрасывает вниз. Ну а если заупрямится, тогда беды не миновать, не вернуться домой вовсе. Но не со всеми такое приключается, а с кем приключается, то уж кого спросишь за это. Но говорят, что если Маланья кого-то выбрала, то уже и не отпустит, будет кружить до смерти, пока человек сам в могилу не сойдет.

Что ни говори, Маланьина гора есть Маланьина гора и все. Правда, прошлой осенью один горячий да строптивый молодец на спор решил целую ночь просидеть на Маланьиной горе, да и просидел, только потом его уже не видел никто нормальным: ходит безумный, бормочет что-то себе, взгляд горящий, да в пустоту смотрящий. А может, это так просто, от страха ум у парня пошатнулся, и Маланья тут ни при чем, кто ж его знает, однако все так, как есть.

Все ж красивая гора эта, особенно со стороны речки. Там широкие дали открываются; видно, как дорога тянется лентой узкой и вдруг, словно змейка черная, вздымается на гору и пропадает на горизонте, а оттуда уже в темную даль уходит, растворяясь в лесной мгле и синеве вечерней прохлады. Никогда со стороны не видно, что за Маланьиной горой, только спереди и можно смотреть. А близко подойдешь — уже не то, все, как

обычно; только тихая оторопь охватывает всякого, когда он почувствует на себе чей-то тяжелый взгляд, идущий прямо из-под земли и как будто призывающий и манящий в темные недра неведомой природы, вокруг которой и расположилась эта Маланьяна гора. И словно стон какой тяжкий, да вроде девичий смех, переходящий в плач. Вот что слышится и видится на той Маланьиной горе.

Вот, поди, и не пугайся после этого. Хоть народ у нас и не пугливый, и всякое видал на своем веку, но горка эта совсем особое дело. Но что-то давно ничего не случилось, и все, может быть, и позабыли бы скоро, что есть дурное что-то там, а тут Матфей — как раз на самой Маланьиной горе — мертвый в полной своей красе. Как так произошло, что с ним приключилось, неизвестно, только как нашли его там, то не по себе стало всем. Как жить теперь, не знает никто, только ясно стало вдруг, что возвратилось древнее проклятье, и со всяким все может случиться. Страх жуткий всех тут же взял, как встарь, когда все это там приключилось. Приключилось, не приключилось, сейчас уже и не разберешь. Но не единожды зло свершается, вот и запомнила молва людская нехорошее.

...А рассказывают о горе этой так. Жил когда-то парень Макар, жил, как все, веселился, как все, работал, как все, ничем дурным и злонаправленным не выделялся. Парень был работающий и стойкий. И была у него любимая — девица по имени Маланья. Все бы хорошо, да не чаял Макар души в своей любимой и любил ее так, как может любить неокрепшее, но горячее сердце. Маланья, правда, была хороша собой, высокая как статная, груди большие, накастистые, лицо ясное, улыбка завораживающая. Всякий засматривался на Маланью, да и трудно удержаться и не остановить взгляд свой на такой радостной и здоровой красе женской. И хоть и юная еще была девица по годам, да по зрелости природной в полном расцвете своем.

Все у Макара и Маланьи было хорошо, и дело шло на лад, к женитьбе; одно было нехорошо: ревновал Макар Маланью сильно, так ревновал, что мог помутиться ум у него от мысли одной, что другой хоть прикоснется к его избранной и единственной. А Маланья не то, чтобы была легкомысленна и ветрена, но могла одарить и смехом своим звонким, и взглядом своим смелым любого, кто неровно посмотрит в ее сторону. Могла Маланья и дразнить Макара, радуясь тому, как сильно он ее любит, что готов умереть сам и всякого убить, кто только посягнет на нее.

И все бы ничего, да случилась беда лютая. Наговорили злые языки на Маланью, наговорили так, что и сомненья не могло быть никакого для Макара. Подстроили, подговорили, подслушали — да горе и состряпали. Помутилось в голове у Макара, так помутилось, что все человеческое он враз потерял. Задумал он черное дело, дело мести за свою поруганную любовь, которая горше смерти теперь ему стала. И задумал, замыслил он дело такое, что отродясь в этих местах и не знал никто. Сильна молодецкая удаля, сильна и человеческая злоба.

Повечеру пригласил Макар погулять Маланью поодаль, чтоб напитаться нежностью летней прохлады и радости предстоящей свадьбы. Не заподозрила девица ничего дурного, доверилась своему суженому, и отвел он ее прямо на то место, о котором после дурная слава и пошла. Яму он выкопал заранее глубокую, да и столкнул Макар Маланью в эту яму черную и закопал живую прямо на том месте, пока стоны глухие и плач нечеловеческий не прекратили из-под земли слышаться. Все сделал, как задумал, как ястреб черный прелетел, как камень рухнул мертвый.

И сел тогда Макар на землю, и горечь горькая так подступила к нему, что свет перестал быть светом, и взяло тогда раскаяние Макара за то, что ж он сотворил-соделял, какое зло неслыханное свершил. И стал Макар раскапывать эту могилу, чтоб достать свою любимую, и копал долго, да только ничего найти не мог. Только земля да земля, да пот градом, да страх кубарем. И руки в крови, и земля в глазах, и черви красные под ногтями, да все нет и нет Маланьи нигде, как будто выпорхнула невестой черной из-под страшной могилы, которую ей жених ее уготовил. И ужас небывалый тогда охватил его, когда, уставший и ополоумевший, сел он передохнуть и почуствовал, как чья-то рука холодно и страшно опустилась на его плечо. То была белая рука девушки, и как оглянулся Макар, то мертвым и пал оземь.

Наутро вся деревня была на ногах; страшная весть облетела все это маленькое селение. А накануне юродивый Сенька рассказал парням свой сон, и было во сне все точь-в-точь, что и случилось. Да только тогда, конечно, Сеньке никто и не поверил, думали совсем ополоумел, несет всякую дурь несусветную. А он, знай, все свое твердит да твердит: погубит Макар Маланью, в землю зароет, пухом покроет, она заплачет-завоет, вся белая встанет да рукой поманит, кто к ней подойдет, тот раньше со свету сойдет. И все свое, все одно и то же.

А в то утро и вспомнили слова Сеньки, и всех тогда страх такой прошиб, что отродясь не бывало. И взаправду Маланья пропала; как ни искали, нигде сыскать не смогли, и Макар мертвый лежит возле этой ямы страшной, непонятно зачем выкопанной.

Как тут не поверить в дикие Сенькины рассказы, и верить не хочется, а делать нечего, все одно к одному. Печаль-кручина тогда охватила всю деревню, никто ничего толком в разум взять не может. Нахмурились тогда люди, тоска страшная в глазах у всех. Да тут еще одно: сколько ни пытались эту яму-могилу сравнять с землей, да все холмик образуется, и со временем нарастает. И взаправду — как могила посреди дороги. И отчаялись тогда люди, и бросили это дело, а Маланьину гору, так они прозвали это место, стали за версту обходить, особенно в час вечерний.

Так вот и пропал тогда мужик Матфей на Маланьиной горке, пропали за свою жадность, или так просто, никто теперь не знает. Только сказывают, что накануне дед Ануфрий сон какой-то видел про горку эту. И с тех пор совсем заброшенным местом стала эта Маланьиная гора, поросла со всех сторон страшным бурьяном непроходимым, да так поросла, что образовался там будто лес какой.

А еще рассказывают, что ровно в середине сентября, как раз, когда все и произошло там, выходит Маланья во всей своей страшной красе на волю. Ходит меж живых, прикидывается, человечье обличье принимает, худого не делает, а все ж страшно всем об эту пору из дому выходить. И сказывают, что иногда все же видят девушку, одетую в свадебный белый наряд, сидящую на горе, сидящую и тихо рыдающую, да в землю смотрящую, да о счастье несбыточном тоскующую.

## КРАСНАЯ ЧАШКА

Хозяин квартиры, угрюмый и нелюдимый человек, недавно сделал ремонт. Он бы ничего не стал менять и все оставил, как есть, но вот жена заставила, убила, что уже совсем неприлично жить в такой «конуре», в которую порядочных людей пустить нельзя, и прочее. Такая мужская

черта, как единственное строение и ремонтировать, была Ивану совершенно чужда и непонятна. В конце концов, он поддался — поддался с большой неохотой и неудовольствием, так как склонность к переменам не являлась его отличительной чертой. Это была даже какая-то внутренняя убежденность — ничего не менять, как будто дурным знаком было нарушать устоявшийся ход жизни, что срастался с вещами и предметами, образуя стойкий и стабильный круг, который и называется жизнью.

Впрочем, плоды труда оказали свое волшебное воздействие: как ни странно, Ивану понравилась новая, недорого, но со вкусом отделанная квартира. Он даже почувствовал нечто подобное воле к жизни, давно уже переставшей очаровывать его своей новизной и необычностью, превратившись в тупой и нудный труд тяжкого несения непонятного существования. Иван воспринимал жизнь как необходимость, которую нужно вытерпеть, совершив в ней как можно меньше безрассудных и ненужных действий.

Он любил иногда подолгу смотреть в окно, будто удивляясь тому, зачем существуют люди, так проворно снующие по своим делам и заботам. Он не замечал ни неба, ни деревьев, ни птиц, ни листья, ни трав, ни ветра, ни звезд, ни всего того, что обычно даже самых обыкновенных и непритязательных людей приводит в приподнятое настроение.

Временами ему казалось, что сердце его давно загноилось и жаждет какого-то исхода. Не будучи натурой ни особенно чувствительной, ни тем более одаренной способностями, в свете которых могла быть раскрыта тщетность и пустота его существования, все же в редкие минуты он чувствовал — именно чувствовал, как густые волны тоски исходили раскатами неведомого горя из груди, в которой как будто давно умирал и разлагался красный червь какой-то непонятной смерти, подступавшей к нему слишком близко.

В такие минуты Иван, боясь самого себя, своих странных ощущений, идущих со дна его темноты, старался забыть в мучительном труде или долгих бесцельных прогулках, длящихся иногда часами. Жена не пугалась таких состояний мужа, однако ее тревожило его долгое отсутствие. Иван всегда возвращался как охотник с охоты, поймав свою неведомую добычу, уничтожив ее в своем злом одиночестве, ни с кем не поделившись.

Нельзя сказать, чтобы Иван был зол — скорее, угрюм, и свою обязанность существовать непонятно зачем он воспринимал как некую благотворительность по отношению к людям, которых, по правде говоря, он терпеть не мог, но терпел, чаще помогая им, даже искренне и бескорыстно, чем причиняя вред.

Зависти Иван не испытывал никогда, ни к кому. Скорее, его раздражала больше всего жена, как самое близкое существо. Близкие всегда вызывают самую большую и беспричинную злобу. Но жена обычно не сердилась на мужа, прощая ему его угрюмость в залог какого-то неведомого грядущего счастья, непонятно почему должного обрушиться на них и все исправить, все изменить.

Ремонт квартиры и стал таким изменением — по крайней мере, какой-то ступенькой к нему. Иван, не считавшийся бездельником и лодырем, с большим скепсисом воспринимал необходимость менять что-то вокруг себя. Привычный ход существования, устоявшийся быт стали не то что привычкой и образом жизни, но самой жизнью. Вечное повторение и стояние на месте одного и того же — вот что доставляло истинное и, возможно, единственное удовольствие Ивану.

Любим человек со стороны, попристальнее взглядевшись в существование такого человека, как Иван, мог бы отшатнуться в глубоком ужасе непонимания от того, как возможно так жить. Но чужая жизнь темна и загадочна, и подлинная радость и смысл существования лежат глубоко, на самом днище человека, о котором он, может быть, и сам даже не подозревает, надеясь смутной надеждой на какой-то радостный исход, терпеливо ожидая-переживая медленное течение однообразной и рутинной повседневности.

Только жена как будто не замечала этой особой угрюмости Ивана, воспринимая его всегда таким, как он есть, даже не обижаясь на его часто несправедливые и свирепые выходки по отношению к ней. Желу он мог обидеть грубо и беспричинно — и словом, и неловким ударом. Но она давно, еще со школьных лет как-то навсегда полюбила своего будущего мужа крепкой неромантической любовью и уверенно шла с ним по жизни, не получая, правда, ничего, что она могла бы заслужить в качестве женщины, попади она в другие, более ласковые и чуткие руки. Она была не то чтобы недурна собой, но женское начало сильно и властно проявлялось в ее чертах, фигуре, походке, речи, создавая таинственное обаяние, которое и составляет самый жгучий и пристальный интерес мужчины.

Ее сердце чувствовало простую и крепкую привязанность к Ивану, и этого было вполне достаточно, чтобы жизнь, как говорят, состоялась. После ремонта произошли некоторые благие перемены в казавшейся вполне внешне благополучной жизни супругов. Иван ощутил некоторое удовольствие наблюдать, как привычное становится непривычным, не меняя своей сущности. Он иногда подолгу разглядывал новые предметы мебели, гладил нежно и ласково новые обои, различные поделки, которые он сделал своими руками. Жена радовалась, видя, как радуется ее муж, и можно было сказать, что долгожданное счастье, коренящееся в простой перемене быта, наконец-то свершилось.

У Ивана произошло даже некоторое смягчение нрава. Он стал добрее к людям, внимательнее и заботливее. Исчезли характерные для него грубые, стальные нотки в голосе, которые и составляли самое неприятное в его натуре и внешности. Всегда торчком стоявшие короткие волосы-проволоки, глаза, налитые вечной красноватой злостью, гниловатые зубы, напоминавшие скорее оскал, чем улыбку — все это исчезло, как только исчезли грубые интонации в голосе. Зато все чаще стал пропадать сон; Иван мог встать среди ночи, пройтись по квартире, словно еще раз оглядывая свои новые владения. Наслаждаясь неожиданно возникшим чувством хозяина, он захаживал на кухню, заваривал чай, а то и просто долго сидел, глядя в окно или уставившись в пол.

К нему стали приходиться мысли о дальнейшем благоустройстве квартиры или даже о приобретении новой; так захватила его чувства возможность переустраивать, перекраивать по собственному плану то, что принадлежит ему.

Жизнь, как говорят, как будто наладилась. Но однажды Ивана вдруг посетило неприятное ощущение какой-то тревоги. Тревожно была всегда, но это чувство было какое-то особенное, ранее незнакомое и поэтому особенно неприятное. Как правило, люди не могут вытерпеть неизвестности, стремясь найти всегда самые видимые причины любым неприятным чувствам. Неведенье способно свести с ума — это хорошо известно. Так вот Ивана вдруг ни с того, ни с сего, в разгар, так сказать, его творческой активности и посетило это несчастье неизвестной тревоги.

Вообще человек не может ничего предвидеть, даже предчувствовать. Так Бог сохранил для него одну из самых радостных и приятных возможностей существования — жить в неведомом. Может, это и составляет основу человеческого счастья — неизвестность, неизвестность всего, и смертного часа, прежде всего. Только в редкие минуты у редких людей накануне какого-то большого горя нависает свинцовая туча неопределенности и особенной бессмысленности. И тогда события, становясь по мере своей пустоты все более невыносимыми, уплотняются наконец в какую-то черную точку и отравляют невыносимо черной тоской радость обычного существования.

Но в случае Ивана чувство тревоги носило иной характер. Его как будто мучило какое-то забытое видение, даже ощущение, которое он безотчетно пережил и теперь никак не мог вспомнить, что именно, мучая себя бесполезным напряжением уже изболевшейся памяти.

Иван даже сник с лица, к нему вернулись прежняя угрюмость и озлобленность. Сон пропал окончательно. Все чаще он выходил посреди ночи на кухню, пробуя курить или читать, но всегда мысль его рассеивалась и упиралась в точку страшной и непонятной тревоги, крадущейся откуда-то издалека, но уже подошедшей совсем близко, притаившись где-то в прихожей или в спальне.

Иван стал прислушиваться к шагам на лестничной клетке, всегда оглушительно и мерно направлявшимся прямо к нему в квартиру, как ему казалось. Всегда кто-то зачем-то ходит ночью, но Иван никогда не решался выходить ночью на улицу, повинувшись детскому страху быть украденным каким-то злодеем, специально бродящим по пустым ночным улицам и похищавшим бедных одиноких прохожих.

Несколько усилила его странное состояние смерть соседа, тело которого привезли в гробу в одну из таких бессонных ночей — как раз тогда, когда Иван долго смотрел в окно. К подъезду медленно подъехала грузовая машина для перевозки мебели, два человека неторопливо раскрыли задние двери машины и занырнули в ее черное пространство. Потом еще два человека вышли из подъезда, вчетвером они вытащили красный ящик и медленно понесли его в подъезд. Иван обомлел, буквально прислушиваясь к каждому звуку, стуку, всхлипыванию, плачу, туманным потоком доносившимся из лестничного проема. Иван был уверен, что сейчас раскроется дверь и гроб внесут именно к нему, в его новую отремонтированную квартиру, навечно опорочив радость обновления тяжко-тоскливым присутствием запаха смерти. Да, именно запах смерти Иван чувствовал более всего, боясь и отвращаясь его.

Но покойника пронесли мимо, лишь слегка стукнув в дверь, видимо, правым углом гроба. У Ивана отлегло от сердца. Он не боялся чужой смерти, но не любил ее, не понимал, и поэтому всегда особенно становился угрюмым, когда умирал кто-то из знакомых. Чувство не скорби, жалости или сострадания владело им, но какого-то слепого и немого озлобленного раздражения. Со стороны казалось, что Иван каждую смерть переживал как свою личную трагедию. Да, в общем, так оно и было...

Иван медленно сел на стул, проведя рукой по намокшему от волнения лбу. Появились светлые мысли о дальнейшем. Неторопливо Иван осмотрел потолок, стены, пол, кухонный буфет, как вдруг его взгляд натолкнулся на красную чашку, стоявшую в неприметном углу буфета. Как-то сразу, без лишних размышлений и анализа Иван все понял: вот она, причина его тревоги! Эта красная чашка, недавно купленная, оставалась

незамеченной, как вещь среди других вещей. Иван едва обращал на нее внимание и не имел к ней никакого пристрастия.

Иван увидел чашку и поразился ее существованию. Это была чашка как чашка, обычная чашка и ничего более; это не красный мак смерти, неведомым цветком внезапно распустившийся у него на кухне; не красный паук-вампир, пригрезившийся в страшном сне и воочию приблизившийся к нему; не красная кровь убитого родственника, застывшая в форме вещи, и даже не красный гроб соседа, который зловещим стуком коснулся его двери. Это обычная чашка, но она-то более всего и поразила Ивана.

Как будто он увидел зарево мира и встретил рождение новой вселенной. Он понял, что вся его жизнь — в этой чашке, в ее голой предметности, в простом и незамысловатом факте ее существования. Вот линия ее изгиба, чем-то напоминавшая женские формы, дающая возможность ее стенкам, округлив дугу ручки, завершиться в ее строгой форме круга в краях. Вот основа, дающая прочное бытие этим округлым формам, вот цвет, такой нелепо красный, что сам уже превращается в самостоятельную субстанцию формы. Вот чистая геометрия, сочетающая формы, цвета и функции. В тот момент Иван понял, понял всем своим умом и сердцем, что такое чистый ужас, немного удивившись своим аналитическим способностям созерцать чистые формы предметов.

Иван почувствовал тошнотворное головокружение; обступавшие его предметы вдруг закружили в своей озлобленной насмешке над человеком, над его жалким и незащитным существованием. Чашка, чашка, одна только чашка в мире — и больше ничего, весь мир — огромная красная чашка, своим неведомым и страшным величием нависшая над пустыней человеческой души! Зачем она, эта чашка, стоит так властно и непринужденно, символизируя своим присутствием неведомую власть вещей, неведомую силу, принуждающую бытие к определенному виду существования? Иван моментально осознал всю тщетность своего ремонта, да и вообще всей жизни. Пока чашка будет оставаться чашкой, принявшей такие безнадежно определенные и окончательно незыблемые формы, в мире не будет радости.

Иван молча отвернулся от чашки, поняв в себе что-то значительное, даже слегка удивившись и ухмыльнувшись одновременно важности и простоте открытой им истины, и надолго припал к окну, всматриваясь в темную белизну теплой и таинственной зимней ночи, в которой ласковые снежинки нежно кружились в своем сказочном танце в такт умиротворяющему покою существующего мира, создавая сладостную мелодию счастья близких и далеких миров.